

А. Г. ЩЕЛКИН

**ФЕНОМЕН ДЕТСТВА В РОССИЙСКОМ
ХУДОЖЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ В XIX И XX ВВ.
НА ФОНЕ ПОСТСОВРЕМЕННОСТИ**

«Особливо ребятишек уважать надо!
Ребятишкам простор надобен. Деткам-то
жить не мешайте. Деток уважьте».

*М. Горький. На дне
(из монолога Сатина)*

Без детей нельзя было бы так любить
человечество.

Ф. Достоевский

Ребенок — гость современности и хозяин
будущего.

В. Белинский

Известно, что отношение к ребенку в обществе как к ребенку, равно как и понимание и осмысление природы детства — это явление по историческим меркам относительно недавнее. Вместе с тем для реализации этих двух задач сегодняшний социум имеет, кажется, соответственно неплохой экономический и эпистемологический ресурс. Тем не менее проблемы остаются и даже в чем-то усугубляются. Современная постмодернистская цивилизация заметно и произвольно отклоняется от классической парадигмы «детство», уступая место «новым» практикам и концептам: «чайлдфри», «исчезающее детство», «родительский инфантилизм», «детство под протекторатом взрослых» и т. д. В этой связи для социологии детства должен представлять интерес опыт осмысления и изображения детства в серьезной художественной литературе — в русской прозе XIX — начала XX столетий, в которой представлены образы детства, не искаженные «сомнительной неопределенностью» (Ю. Хабермас) текущей современности.

В статье исследуется тема детства, ее отражение в творчестве Толстого, Чехова, Бунина и др.

Ключевые слова: классическая парадигма детства, постмодернистское понимание детства, социологический анализ детства в русской литературе.

SHCHELKIN ALEXANDER G.

THE CHILDHOOD PHENOMENON IN THE MIND OF RUSSIAN WRITERS IN XIX AND XX CENTURIES AGAINST THE POSTMODERNITY BACKGROUND

It is known that the attitude towards a child in society as a child, as well as understanding of the nature of childhood, is a relatively recent phenomenon by historical standards. At the same time, to realize these two tasks, today's society seems to have a correspondingly good economic and epistemological resource. However, the problems remain and even get worse. Modern postmodern civilization noticeably and arbitrarily deviates from the classical paradigm of "childhood", giving way to "new" practices and concepts: "childfree", "disappearing childhood", "parental infantilism", "childhood under the protectorate of adults", etc. In this regard, the experience of understanding and depicting childhood in serious fiction — in Russian prose of the 19th and early 20th centuries, which presents childhood images that are not distorted by the "doubtful uncertainty" (J. Habermas) of the current modernity, should be of interest for childhood sociology.

The article explores the theme of "childhood", as it is reflected in the works of Tolstoy, Chekhov, Bunin and others.

Keywords: childhood, Russian classical fiction, postmodernism, sociological vision of childhood.

Известно, что социология детства на сегодняшний момент обогатилась самыми разнообразными и серьезными исследованиями природы детства, которые проделаны в антропологии, этнографии, лингвистике, психоанализе, культурологии, истории и, неизбежно, в философии. Достаточно отметить ряд пионерских работ — прежде всего Ф. Арьес «Ребенок и семейная жизнь при Старом порядке» (вышла во Франции в 1960 г.), где автор фундаментально проанализировал тот парадоксальный факт, что хотя «ребенок» присутствует в человеческой истории ровно столько же миллионов лет, сколько существует и сам человек, тем не менее «детство» — относительно недавний социокультурный феномен. Нельзя пройти мимо и тех сокрушительных выводов о противоречивых и чуть ли не взаимоисключающих императивах, под знаком которых складывается судьба «детства» в современной цивилизации (в первую очередь работа Ф. Дольто «На стороне ребёнка», 1985). Библиографический список исследований в таком ключе уже исчисляется не одной сотней названий.

Однако как бы ни был впечатляюще велик размах этого интереса к детству, приходится признать, что существует еще один огромный, как Атлантида, домен «образов детства», скрывающийся из вида именно для социологической науки. Речь идет о присутствии тематики «детство» в мировой художественной литературе. И домен этот имеет свою особую, а именно социологическую значимость, и он ждет своего достойного исследования. Важнейшее и общепризнанное место в мировой литературе о детстве занимает, конечно, художественное творчество писателей дореволюционной, советской и современной России. С дореволюционной литературы особый спрос: она богата большой семантикой и поучительностью для понимания природы детства. Веет даже какой-то загадочностью — как только русская речь приобрела в начале XIX века современную литературную форму (которой мы пользуемся фактически до сих пор), отечественные писатели заговорили на страницах своих произведений о... детстве. Тема детства стала устойчивым литературным жанром, которому отдали свои усилия и свое вдохновение Аксаков, Лев Толстой, Достоевский, Салтыков-Щедрин, Гарин-Михайловский, Чехов, Бунин, Горький, Короленко, Куприн, Андреев, Алексей Толстой.

Справедливости ради надо отметить, что в последнее время интерес к художественной литературе о детстве весьма заметен и переживает у нас даже своеобразный бум. Но в основном этот интерес идет не столько от социологов и философов, а в большей степени от литературоведов, психологов, филологов и прочих гуманитариев. И в этом смысле тема детства, каковой мы ее находим в художественной литературе, скорее социологически недоиспользована, недоисследована.

1

Прежде чем пуститься в изыскание детства, как оно представлено на просторах русской художественной литературы, следует принять во внимание то, к каким важнейшим выводам на сегодня пришли серьезные исследователи по поводу феномена детства.

Как лаконично и точно выразился И. С. Кон, «общество не может познать себя, не поняв закономерностей своего детства» (Кон 1988: 6). Более того, без адекватной модели детства оно не может и построить/конструировать себя в направлении нормальной цивилизации. Это связано с тем, что природа ребенка имеет одно критически важное универсальное качество. «Дети с зачатия и до смерти прикасаются к сущности того, что есть человек, и эта сущность всегда при них»

(Дольто 1997: 266). Вот почему цивилизованность общества «требует присутствия мира детства внутри мира взрослых», предполагает «глубокую онтологическую необходимость ребенка взрослому <...> Телеологически дитя несет собой то, что не должен растерять взрослый» (Кислов 2002: 32, 41). Некоторые авторы высказывают это предположение в терминах экзистенциальной философии: «Может быть, переход к взрослому возрасту — это переход от “быть” к “иметь” <...> Может быть, ребенок создан главным образом, чтобы “быть”, а взрослый — чтобы “иметь”» (Дольто 1997: 267). Конечно, фраза Иисуса Христа «будьте как дети» кому-то покажется уязвимой в определенном отношении, но не видеть за ней универсальное качество детства — значит, остановиться на полпути к подлинному пониманию природы ребенка. Утратить в себе ребенка считается в современном мире не лучшим качеством.. Отсюда и понимание этой драматичной неудачи: «взрослые — это плохие дети». Удача состоит в обратном. А. Ахматова, например, не без назидания напомнила нам о «вечном детстве» Б. Пастернака. Л. Толстой как будто бы тоже про это: «Меня от пятилетнего ребенка отделяет один шаг». Однажды академик А. Н. Колмогоров заметил, что каждый человек с определенного момента продолжает оставаться в том возрасте, после которого характерное для него мировоззрение уже не меняется. «А Вам сколько лет?» — спросили академика. — «Четырнадцать». Это хрестоматийный ряд высказываний в пользу детства можно продолжать долго.

Прямым свидетельством благоприятного социализирующего и гуманизирующего влияния детства на жизнь взрослого человека является ностальгия по своему детству. Отсутствие этого чувства может иметь только одно объяснение — отсутствие самого детства по обстоятельствам от ребенка независимым. В этом смысле ностальгия по детству может носить сильный регулятивный характер и удостоиться внесения в знаменитую пирамиду А. Маслоу.

Этому антропологическому аргументу соответствует и причины сугубо биологического характера. Только у человека как вида среди других видов наблюдается самое длинное детство. Это нужно для того, чтобы у человеческого индивида прочно сформировались и закрепились такие константы поведения, которые во взрослой жизни могут стать строительным материалом для собственно «человеческого» и «цивилизованного» сообщества. Конрад Лоренц наблюдал этот эффект, сравнивая «детство» диких и одомашненных животных. Оказывается, у диких животных «детское» поведения так и остается в быстротечном детстве, а у одомашненных животных «детское»

поведение закрепляется на всю жизнь. Отсюда и наблюдаемая разница: пылкая индивидуальная привязанность к человеку, игривость, доверчивость, непосредственность — у одних, и скрытость, настороженность, некоммуникабельность с чужими — у других (Лоренц 1978).

2

Имена отечественных писателей, сделавших тему детства литературным жанром, давно и хорошо известны. Кто-то из них (С. Аксаков, А. Толстой) талантливо ограничивается живописанием счастливого детства, полного непосредственных впечатлений в обстановке довольно благополучных и умных отношений к детям, в своих семьях. Другие авторы (прежде всего А. Чехов, М. Горький, до определенной степени Н. Гарин-Михайловский) выражают тот драматизм человеческой жизни, который, по их наблюдениям, начинается прямо в детстве. Однако в нашем случае особый интерес представляет иная группа литераторов и литературных критиков, в книгах которых нас прежде всего поражает их бесконечное удивление и даже восхищение детством как феноменом, «неслучайно встроенным» в человеческую цивилизацию, и когда самоё детство воспринимается фактически как «органическое строение» цивилизации — цивилизации не в релятивистском, а в высшем, абсолютном смысле этого понятия. В. Белинский, Н. Гоголь, Л. Толстой, И. Бунин, в определенной степени опять же А. Чехов — это тот ряд авторов, которые поняли детство именно как такое явление.

3

А. Чехов оставил нам настолько же животрепещущее, насколько и провокативное признание: «В детстве у меня не было детства». Хорошо известно, что заботу о бакалейной лавочке отец будущего писателя целиком возлагал на сыновей. Это был почти каторжный трудовой режим. Лавочка торговала с 5 утра и до 11 вечера. Но самым тяжелым и оскорбительным были, конечно, частые порки. В одном из писем Чехов писал: «Меня маленького так мало ласкали, что теперь, будучи взрослым, принимаю ласки, как нечто непривычное, еще мало пережитое» (Чехов 1976: 173). Пресловутая «подготовка к (суровой) жизни» начиналась в раннем детстве, настолько раннем, что собственно для детства не оставалось никакой «хронологии».

Приходится признать, что отсутствие детства, о котором говорит Чехов, означает гораздо больше, чем просто факт его биографии. Во-первых, перед нами горькое сожаление по поводу этого факта, равно как и тоска по детству, которое должно быть у каждого человека. Во-вторых, если Чехов точно знает, что то, что было у него — это не детство, то он более или менее представляет, что есть детство в норме, или нормальное детство. Когда детству отказывают в должном признании (см., например, обескураживающую ремарку И. Бродского: «Русские не придают детству большого значения. Я, по крайней мере, не придаю»), а еще хуже, если детство воспринимается исключительно как дисциплинарную «пропедевтику» к «взрослой» жизни или самоё начало такой жизни, — тогда слова Чехова звучат с непреходящей актуальностью. Почему?

Даже тогда, когда детство выделилось в Новой истории как самостоятельный социально-культурный феномен, ему редко удавалось удачно состыковываться со «взрослой» жизнью, тем более продолжаться в ней. По существу, эта фатальная ущербность социума есть причина того парадокса, который пытался разгадать Стендаль: «Почему мы рождаемся оригиналами, а заканчиваем жизнь копиями?» Не в этой ли связи Ж.-Ж. Руссо вынес «взрослому» обществу прискорбный упрек: «Учитель-француз готовит своего воспитанника к тому, чтобы он на минутку блеснул в детстве, а потом навсегда остался ничтожеством»? В XX веке В. Набоков в «Других берегах» произнесет почти то же самое: «Балуите детей, господа! Никто не знает, что их ожидает в будущем». Однако при всей внешней одинаковости смыслов этих высказываний позиция Ж.-Ж. Руссо предпочтительна в одном, важном смысле. Французский мыслитель знал цену перманентного потворства: «Хотите испортить ребенка — дайте ему все и не спросите с него ничего». Поэтому можно сказать, что в одном случае (Руссо) — «рецепт» выглядит совсем не как панацея, а скорее как вынужденный паллиатив, в то время как в другом (Набоков) — как категорический императив с теми небезопасными последствиями, которые несет с собой всякое попустительство в делах человеческих.

Как бы там ни было, но считать, что сегодня ситуация с детством после эпохи, когда дети в семьях становились жертвой «хозяйство-центризма» взрослых (понятно, что для значительной части населения в силу материальной нужды), считать, что эти чеховские времена канули в Лету, не приходится. Понятно, что в чеховские и далеко в дочеховские времена фактор «экономической нужды» совсем не распространялся на детей в семьях большей части дворянского сословия, высокопоставленных чиновников, представителей образованного класса. Там он, по понятным причинам,

не мог играть той принудительной роли, которая деформировала образ ребенка. Чтобы стать обладателем «свободной профессии», разные сословия платили несопоставимые цены. Сам Чехов в одном из писем говорил: «Что писатели-дворяне брали у природы даром, то разночинцы покупают ценою молодости» (Чехов 1976: 131). Конечно, в экономически развитых демократиях эта материальная нужда, лишаящая ребенка нормального детства, преодолена: дети имеют право на получение полного среднего образования и реализуют его.

Однако беда подобралась с другой стороны. В этой связи приходится отметить по крайней мере три момента.

4

(1) Как всегда, выяснилось: материальный фактор играет существенную роль, но не исключительную. «Культура имеет значение». В данном случае — культура, образованность, просвещенность взрослых. А если совсем точно — отсутствие этой культуры, образованности, просвещенности у взрослых родителей. И если быть предельно точным — у инфантилизованных взрослых.

С этой точки зрения отношение современных родителей к своим детям оказывается не на высоте положения. К чему это приводит в «массовом обществе», свидетельствует Франсуаза Дольто (1908–1988), крупнейший французский специалист по детству: «Взрослые желают сохранять над детьми неограниченную власть. Родители настолько инфантилизованы, что им нужны дети еще более инфантильные, чем они сами <...> Выращивание детей в неволе, воспитание в тесных рамках — это новая язва так называемого цивилизованного общества <...> Взрослые подавляют в себе ребенка и при этом стремятся к тому, чтобы ребенок вел себя так, как им хочется. Подобное воспитание неправильно» (Дольто 1997: 97, 229).

(2) Американский социолог Нейл Постман (1931–2003) назвал вещи своими именами: в наше время происходит «исчезновение детства». Причина почти та же — деформация культуры, образованности, просвещенности в современном обществе. Только если Ф. Дольто говорит о так и не освоенной «культуре детства» в среднебуржуазной среде теперешнего «напряженного» и «тревожного» социума, то Н. Постман связывает необратимые изменения «мира детства» с «революционными» изменениями в сфере информационных средств, с помощью которых упрощенный и примитивно-мифологизированный образ мира одинаково доступен и понятен и детям, и взрослым (Постман 2004).

В этой связи Н. Постман отказывается признавать ставшее привычным деление жизни на младенчество, детство, зрелость и старость и предлагает другой подход, в котором в качестве принципиальной границы между взрослыми и детьми признается «исчезновение детства» («инфантильные взрослые» и «неинфантильные дети»); младенчество — полувзрослый-полудетский возраст (Постман применяет для его обозначения неологизм *adult-child*) — глубокая старость.

К этому можно добавить, что современный медиарынок, на котором взрослые потребляют детство как товар, а дети из кожи вон лезут, подражая взрослым, довел этот пагубный тренд в «цивилизации развлечений» до аналогии с «культурной» педофилией. «Изобретая» и взлелеяв детство как новую социально-культурную ценность в недавнем прошлом (Н. Постман говорит о периоде с 1850 по 1950 г.), сегодняшний мир мощно сориентировался на такие технические средства (прежде всего ИТ), игровое и вне всякой нужды потребление которых (гаджеты, девайсы и пр.) искажает сущность и бытие ребенка (виртуализм, нарциссизм, игромания, снижение эмоциональных и умственных способностей и проч.) и не оставляет места собственно человеческим атрибутам детства — непосредственности, нежности, любопытству как отношению к миру, романтическому восприятию будущего.

(3) Но все рекорды бьет третья опасность, угрожающая детству буквально напрямую: постоянно растет число людей, не желающих иметь детей в принципе. Движение называется «*childfree*». Во многих развитых странах оно приобретает все признаки устойчивого социального феномена и является оборотной стороной современной цивилизации, когда сознательная бездетность рассматривается не просто как право на «свободный выбор», но и как привилегия развитого социума (Политическая лингвистика 2013). Чаще всего такой выбор делают люди образованные, обеспеченные и амбициозные, которые не желают жертвовать своим комфортом и карьерой ради детей. Движение «*чайлдфри*» — «свободные от детей» — набирает обороты в России и Европе. Как это ни парадоксально, но о *childfree* как о негативном факторе говорить здесь не имеет смысла. Мы исследуем именно детство, подверженное влиянию различных условий. Сжато говоря, в одних условиях детству предоставляется возможность быть самим собой, *per se*, соответствовать своей природе, в других — детство искажено и девиантно (хорошо, если не наоборот). *Childfree* — это нулевой шанс для детства. И в этом смысле это вообще не тема детства. Потому что там физически нет детства.

«Из ничего и выйдет ничего», — говорил один шекспировский герой. Это, собственно, проблема цивилизации — цивилизации, потворствующей своему нарциссизму и добровольной самоисчерпаемости...

5

Возвращаясь к феномену чеховского детства, в котором так травматично отразились последствия хозяйство-центризма взрослых того времени, можно сказать, что и постсовременность попадает в ловушку аналогичного злоупотребления, которое можно назвать IT- и медиа-центризмом, за которым следуют не менее, если не более, коварные последствия для детства. Недвусмысленные названия сочинений Н. Постмана и Ф. Дольто говорят сами за себя: «Исчезновение детства» и «На стороне ребенка». Если попробовать перечислить сегодня хотя бы ряд факторов, ведущих к эрозии детства, то мы быстро и наглядно получаем перечень условий, несовместимых с онтологией (природой) детства. (1) Родители инфантильнее и эгоистичнее детей (важнейший тезис Ф. Дольто). (2) Бизнес по-новому эксплуатирует детей («дети очень полезная вещь», «детские блоги» в рекламных целях и т. д.). (3) «Эротическая посткультура» взрослых сексуализирует мир детей («новое детство, тронутое развратом»). (4) Но особенно надо подчеркнуть «минус-эффект» от ранней цифровизации детства (дети и взрослые получают информацию «из одних и тех же источников», временной раздел между детством и взрослостью размывается) (один из главных тезисов Н. Постмана).

Этот последний пункт, действительно тщательно проанализированный американским социологом, сегодня видится в еще более непривлекательной перспективе. Дело в том, что как ни прискорбно, но и современный/постсовременный мир продолжает оставаться в тисках, похоже, старой дилеммы — между потребностью ребенка находиться в детстве, не пропустить детство и удручающим фактом «исчезновения детства» из жизни, как это было и в чеховскую эпоху хозяйство-центризма, и как это продолжается и в сегодняшнюю эпоху «сверхсложного», «взрослого» общества с его «торжествующим триумфом (технических) средств над (социальными) целями» (К. Ясперс), откровенным доминированием технoзнания на знанием гуманитарным. «Теперь никто не стремится дать массам образование <...> Вместо знания прививают умение. Умение обращаться с компьютером» (Дольто 1997: 332).

Возможно, перечисленные факты и факторы «исчезновения детства» хоть и не исчерпывают картину этого исчезновения, но от сдержанного оптимизма в ожидании лучших перспектив для детства перечисленные выше авторы не отказываются и связывают его с выполнением ряда условий. В частности Ф. Дольто говорит о том, что надо сделать ставку на преодоление того, что можно назвать недальновидным и беспечным замыканием детей в ложный круг безопасности от жизни. «В наше время, вместо того чтобы точными словами посвятить ребенка в правила безопасности, объяснив ему, как обращаться с каждым предметом, его оберегают от опасности, помещая в загон. <...> Думать, что люди, находящиеся в поре детства, представляют собой особый мир — опаснейшая иллюзия. Если детей замыкают скопом в каком-то магическом кругу, они обречены на бесплодие» (Дольто 1997: 87, 262). В свою очередь, Н. Постман связывает свои надежды с противодействием эрозии института семьи (критические масштабы разводов между супругами) и уменьшением влияния ТВ и выработкой у детей критического отношения к происходящему на экране (сегодня мы бы добавили: софистированный, прямолинейно-игровой (вне всякой морали) характер потребляемый детьми электронной продукции) (Постман 2004).

Читатель, однако, не будет возражать против простого соображения, что у свидетелей «последних известий» от сегодняшней «постсовременности», есть некая привилегия перед авторами, которые с этой «постсовременностью» связывали, как уже говорилось, свой сдержанный оптимизм. Эта привилегия состоит в том, что вещи можно видеть на сегодня такими, какие они есть, а не такими, какими их ожидали увидеть какое-то время тому назад. Проще говоря, реалии таковы, что конфликт отцов и детей часто имеет парадоксально-извращенное разрешение. Размеры статьи не позволяют говорить об этом подробнее. Достаточно будет сказать, что, с одной стороны, заметным трендом стала мода на бредовое заявление подростка своим родителям: «Я не просил вас меня рожать!» (Пайпер 2019). С другой — мир столкнулся с растущим феноменом инфантилизма взрослых, синдром неповзрослевшего Питера Пэна, когда люди сознательно уклоняются от взрослой жизни с ее бременем ответственности и самодисциплины (Физе 2014).

6

При рассмотрении темы детства у А. Чехова, как видим, неслучайно возникла необходимость взглянуть на ситуацию с детством в сегодняшних реалиях. Считать, что современность с ее беспрецедентными

возможностями позволила полно раскрыться природе ребенка, очевидно, не приходится. Более того, оказывается, что обстановка времен Чехова-ребенка, не позволившая писателю прожить «нормальное» детство, не исключала культивирование в ребенке сильных и достаточно цивилизованных характеристик, которые не всегда формируются в век постмодернизма. Попробуем объяснить.

Ценность чеховского случая не только в артикуляции пагубности отсутствия у него детства. Возможно, М. Горький, в своей повести «Детство», рассказавший каким «свинцовым мерзостям» со стороны своего деда подвергался он в детстве, имел не меньше, если не больше оснований для lamentаций и отчаянных сетований. Но, к слову сказать, М. Горький как раз этого не делал. Скорее всего, пролетарский писатель не сокрушался о своем детстве как самоценности по той причине, что его целью было скорее художественно изобличить все те же «свинцовые мерзости» взрослых. Отсюда и впечатление Л. Н. Толстого о М. Горьком: «Л. Толстой однажды сказал Горькому: “Не верится, что вы тоже были маленьким...”» (Эриксон 1996: 537). Почему же взрослый Чехов, вспоминая о своем детстве, не пустился в аналогичное Горькому изобличение деспотизма старших — деспотизма своего отца, Павла Егоровича Чехова, человека с крутым, неуравновешенным характером, который, накопив денег, открыл бакалейную лавку и сделал своих детей буквально «пролетариями» этого изнуряющего хозяйства. Напоминание деталей не помешает.

Унизительные телесные наказания, тяжелый трудовой режим, постоянное недосыпание — таковы черты детства Чехова, столь не похожего на благословенное детство, поэзия которого встает перед нами на страницах Льва Толстого, Аксакова, Алексея Толстого («Детство Никиты») и других писателей, вышедших из дворянско-помещичьей среды (Ермилов 1951). Пресловутая «подготовка к (суровой) жизни» начиналась в раннем детстве, настолько раннем, что собственно для детства не оставалось никакой «хронологии».

«Россия, — говорил Чехов, — страна казенная». Это означало, что чаще всего, не имея привилегированного детства как в знатных семьях, обычный ребенок в средней, российской семье не приобретал его и в гимназии — той гимназии, которая была пропитана атмосферой казенщины и верноподданничества. Писатель Тан-Богораз (1865–1936), тоже обучавшийся в таганрогской гимназии, свидетельствует: «Гимназия, в сущности, представляла арестантские роты особого рода. То был исправительный батальон, только с заменой палок и розог греческими и латинскими экстемпоралиями (экстемпорале — род контрольной работы

без подготовки)». Брат Чехова Александр вспоминал: «Многие из моих сверстников покинули гимназию с горечью в душе. Мне же лично чуть ли не до 50 лет по ночам снились строгие экзамены, грозные директорские распекаания и придирки учителей. Отрадного дня из гимназической жизни я не знал ни одного» (Ермилов 1951).

Конечно, всякая «казенная страна» не готова востребовать человеческий капитал ни в детстве, ни за его пределами — во взрослой жизни. Даже тогда, когда детство выделилось в Новой истории как самостоятельный социально-культурный феномен, ему редко удавалось удачно состыковываться со взрослой жизнью, тем более продолжаться в ней. По существу, эта фатальная ущербность социума есть причина того феномена, который многие мыслящие головы, включая и Стендаля, пытались разгадать: «Почему мы рождаемся оригиналами, а заканчиваем жизнь копиями?»

7

И здесь самое время вновь и окончательно вернуться к «казусу Чехова», от которого мы не без причины отвлеклись для сравнения на современность. «Казус» этот сложнее и поучительнее, чем может показаться на первый взгляд («В детстве у меня не было детства»).

На этот пресловутый «первый взгляд» казалось бы отсутствие детства в чеховском детстве должно было по логике вещей и человеческой психологии толкнуть писателя к элементарной реакции — взрослея, все больше и больше удаляться от «такого» отца. И в самом деле, это удел, которого должен заслуживать всякий отцовский деспотизм. Александр Блок к поэме «Возмездие» возьмет в качестве эпиграфа эту ибсеновскую мысль: «Юность — это возмездие». Но что-то в истории с Чеховым не укладывается в эту горькую и не всегда полную правду. Чехов по-своему любил отца и знал за что ему, несмотря ни на что, благодарен.

Конечно, уже будучи взрослым, писатель как творческий и самостоятельный человек искал уединения для работы и жизни. Тем не менее, он покупает усадьбу Мелехово с расчетом, что там будут жить его отец и мать, и что отец будет предаваться любимому делу — хозяйствовать на поприще приобретенного домохозяйства. И когда Павел Егорович умирает, Чехов только после этого продает Мелихово и покупает участок земли в Ялте и там строит свой особняк. По мнению одного из исследователей биографии Чехова, «было бы неправильно рисовать жизнь семьи Павла Егоровича только темными красками. <...> Павел Егорович

хотел сделать своих детей разносторонне образованными людьми. Он отдал их всех в гимназию, нанял для них учителя музыки, рано начал учить их языкам; старшие сыновья уже в отроческие годы свободно говорили по-французски» (Ермилов 1951).

Но главное, за что Чехов мог быть благодарен отцу, это отцовское стремление «привить своим детям с малых лет привычку к упорному труду, чувство обязанности, ответственности, дисциплины. Правда, его приемы внедрения этих качеств в детские души были таковы, что могли внушить детям отвращение к какой бы то ни было дисциплине. <...> Но Антон Павлович сумел отделить полезное от вредного в воспитании Павла Егоровича. Его отношение к своему отцу, несмотря на все мрачное и тяжелое, что стояло между ними, было и уважительным и любовным» (Ермилов 1951).

В рамках данного исследования детства в художественном сознании русских писателей «урок от Чехова» имеет, как сейчас принято говорить, парадигмальное значение. И связано это с тем, что сегодняшний сценарий детства, с одной стороны, воспроизводит в значительной степени не лучшую сторону чеховской истории (эгоизм, недалёковидность и просто инфантилизм старших, о котором говорит Ф. Дольто), а с другой — этот постмодернистский сценарий откровенно равнодушен к тому, что раньше было неизбежным и цивилизованным дополнением всякой эксплуатации, — равнодушен к самодисциплине и серьезности ребенка. (Говоря о модернистском заигрывании с ребенком, ребенком-иконой, та же Ф. Дольто скажет о принципе «побольше удовольствия»: «Если вся интенциональность создана, чтобы доставить “его величеству” побольше удовольствия, это — отрицание человеческой личности» (Дольто 1997: 121).

Похоже, примерно эту сторону дела подметил Л. Витгенштейн еще в конце 1940-х: «Мне представляется, что образование, которое люди получают в наше время, направлено на то, чтобы уменьшить их способность переносить страдание. Хорошей сейчас считается та школа, где “детям весело”. А раньше мерили не этим... Способность к страданию ценится не высоко потому, что считается, что никакого страдания не должно быть — оно устарело» (Л. Витгенштейн).

8

В этом месте (вновь) есть смысл обратиться к нашему источнику — материалу русской литературы. Вопрос можно сформулировать следующим образом. Всегда ли формула об «отсутствии детства в детстве»

(а ля Чехов) является абсолютным приговором и осуждением ситуации, в которой это отсутствие имеет место? Иначе говоря, можно ли считать, что «счастливое детство», полное непосредственности, игры, непринужденности, нерасчетливости, исключает самодисциплину, серьезность, страдание и прочие атрибуты, которые якобы характеризуют взрослую жизнь? Взглянем под этим углом зрения на один из лучших рассказов А. Платонова «Возвращение», написанный в 1946 г. (Платонов 2010).

Капитан гвардии Алексей Алексеевич Иванов демобилизуется из армии и возвращается из родного полка домой, в свой небольшой городок, где его ждут жена и двое детей, сын и дочка. «Иванов приехал на шестой день. Его встретил сын Петр; сейчас Петрушке шел уже двенадцатый год, и отец не сразу узнал своего ребенка в серьезном подростке, который казался старше своего возраста. Отец увидел, что Петр был малорослый и худощавый мальчуган, но зато головастый, лобастый, и лицо у него было спокойное, словно бы уже привычное к житейским заботам, а маленькие карие глаза его глядели на белый свет сумрачно и недовольно, как будто повсюду они видели один беспорядок. Одет-обут Петрушка был аккуратно: башмаки на нем были поношенные, но еще годные, штаны и куртка старые, переделанные из отцовской гражданской одежды, но без прорех — где нужно, там заштопано, где потребно, там положена латка, и весь Петрушка походил на маленького, небогатого, но исправного мужичка. Отец удивился и вздохнул». Как многозначно это «вздохнул!» — «Иванов не знал, что у него вырос такой сын, и теперь сидел и удивлялся его разуму». Жена капитана гвардии говорит о детях слова, усугубляющие тревожный смысл этого мужниного удивления: «Видишь — какие выросли. Сами все умеют делать, как взрослые стали, — тихо произнесла Любовь Васильевна. — К хорошему ли это, Алеша, сама не знаю...»

Произошло то, что происходит, когда в детстве исчезает детство. Взрослый фронтовик думает и радуется, что он возвращается к детям. Но он озадачен, сбит с толку, не хочет принимать увиденное: перед ним не дети, а маленькие взрослые, не побывавшие в детстве: «Он смотрел на Петрушку, на своего выросшего первенца-сына, слушал, как он дает команду и наставления матери и маленькой сестре, наблюдал его серьезное, озабоченное лицо и со стыдом признавался себе, что его отцовское чувство к этому мальчугану, влечение к нему как к сыну недостаточно. Иванову было еще более стыдно своего равнодушия к Петрушке от сознания того, что Петрушка нуждался

в любви и заботе сильнее других, потому что на него жалко сейчас смотреть. Иванов не знал в точности той жизни, которой жила без него его семья, и он не мог еще ясно понять, почему у Петрушки сложился такой характер». Благодаря лаконизму платоновского реализма на сжатом отрезке рассказа выставлены две правды — и правда детства, и правда его отсутствия. Позиция отца: «А у тебя (говорит он жене. — *А. Щ.*) вон Петрушка что за человек вырос — рассуждает, как дед, а читать небось забыл». Позиция 11-летнего сына: «Петрушка вздохнул на печи и захрапел для видимости, чтобы слушать дальше. “Ладно, — подумал он, — пускай я дед, тебе хорошо было на готовых харчах!”», Мать: “Зато он все самое трудное и важное в жизни узнал! А от грамоты он тоже не отстанет”».

Отсутствие нормального детства у маленького Петра — это как бы эксперимент, поставленный самой жизнью в ее исключительных обстоятельствах военного времени. И этот опыт «ненормального детства» говорит о чем-то очень важном, чего мы не имеем, не наблюдаем в «слишком нормальном» детстве. Было бы исключительно поверхностным понимать смысл платоновского «Возвращения» как боль по утраченному, а точнее, несостоявшемуся детству у двух детей гвардии капитана Иванова. Конечно, эти двое не знают, что такое детство и как выглядит оно на самом деле, то есть в норме. Да, сам капитан гвардии Иванов обескуражен чуть ли не стариковской «взрослостью» и бытовой практичностью своего одиннадцатилетнего сына. Читатель тоже готов разделить эту обескураженность. И тем не менее придется повторить: в рассказе А. Платонова мы имеем именно «теодицею» (оправдание) сурового детства, а не просто посыл проклятия войне, лишившей этих детей детства. Это понимание того, что досрочно повзрослевшие дети — не жертвы, достойные слезливых читательских сантиментов. Это как раз о той серьезности детства, за отсутствие которой наша «цивилизация постмодерна» очень дорого платит. Гегелевская мысль о том, что люди в лице каждого нового поколения, вступая в следующий фазис своей истории, должно иметь практику «схождения к основам», «зачерпывания азоров», здесь была бы уместна. Равно как и напоминание кое-чего из М. Хайдеггера: «Бытие требует возврата к истокам». К сожалению, приходится констатировать, что «постсовременность» как социальный дискурс плохо справляется с императивом «меры» и «самоограничения», но зато вполне преуспевает в «культуре нарциссизма и самопотворства» (Bell 1976; Lasch 1979).

9

Для уяснения причин наблюдаемого «кризиса детства» принципиально важным остается понимание того, что происходит с современной семьей. Главный тренд, который характеризует семью и брак сегодня, хорошо известен: «В крупных городах распадается свыше 50% браков (в некоторых местах уровень разводов достигает 70%). Причем у более чем трети распадающихся семей совместная жизнь продолжалась от нескольких недель до 4 лет, т. е. совсем недолго. Нестабильность семьи приводит к росту неполных семей, снижает родительский авторитет, отражается на возможностях формирования новых семей, на здоровье взрослых и детей» (<http://www.socioworld.ru/sworlds-782-1.html>).

Такова данность. Однако, несмотря на эту данность, т. е., «несмотря на кризисное состояние семьи, ее социализирующие возможности крайне велики» (Истомина, Майпиль 2019).

Как бы там ни было, первичная социализация ребенка действительно происходит именно в семье. Англичане шутят: «Не воспитывайте детей. Они все равно будут похожи на вас». И эта неизбежность может быть как и вполне счастливой удачей для ребенка, так и наоборот. В семье, прежде всего в общении с матерью и отцом дети получают (или, увы, не получают) то, что известный французский социолог П. Бурдьё по другому поводу называл габитусом — в нашем случае, культурно-цивилизированное отношение к жизни, полное трогательности, чуткости, благоговения, — который (габитус) как установка ориентирует и окрашивает весь жизненный маршрут человека. Этот семейный «габитус» — большая привилегия или, проще говоря, редкость. Он предполагает общую культуру и материальный достаток в семье. Но именно этот семейный «капитал», эта душевная щедрость родителей к своим детям часто подвергается эрозии. В нашу эпоху отсутствие душевной щедрости к «малым сим» рождается, можно сказать, знаменитым инфантилизмом и эгоизмом самих взрослых. Фильм А. Звягинцева «Нелюбовь» непринхотливо воспроизводит этот типичный кейс. Более того, брак начинает терять свой смысл уже на ранних подступах к браку: по последним наблюдениям, подростки отказываются от отношений и секса, а брак теряет свой смысл. Движение «Без детей. Childfree» имеет свою растущую статистику. В сегодняшней благополучной Германии «30% женщин заявляют, что не намерены рожать, а 48% мужчин среднего возраста признаются, что живут счастливо без детей. Это в три раза больше, чем у их отцов...

(В США. — А. Ш.) сейчас больше половины взрослого населения не состоят в браке... В 1950 г. таких было 20%» (Коткин, Сигел 2013).

И факт этот есть явление посткультурного, постцивилизованного порядка, ни к подлинной культуре, ни к цивилизованности отношение едва ли имеющий. Приходится думать, что «в предстоящие десятилетия успех будет на стороне тех культур, которые сохраняют место и роль семьи <...> как незаменимой основы общества» (Коткин, Сигел 2013).

Тем не менее было бы непростительным простодушием считать, что феномен типа «childfree» характеризует исключительно эпоху постмодерна и суперкультуры. Такие прецеденты имеют место всегда, когда культуроцентричность, квазикаультурность и т. д. заменяют людям естественные и традиционные ценности, предполагающие в том числе гуманистическое и подлинное понимание природы и смысла детства в человеческом обществе. Равнодушие к собственному отцовству и материнству, сосредоточенность «на себе любимых», как правило, отличают эпохи беспечного и развлекательного отношения к культуре. Именно на примере А. С. Пушкина мы видим, что дворянская семья не была гарантией «счастливого детства».

Я не буду говорить, насколько автор данной статьи был поражен, когда узнал, почти случайно, что Пушкин, оказывается, был «человеком без детства». Формулой этой пользовался Ю. Лотман. Поначалу хотелось отнести этот вывод за счет того, что Ю. Лотман по какой-то причине недооценивал исключительное значение детства в жизни всякого человека. Оказалось, что это совсем не так. В работе видного филолога и литературоведа «Пушкин. Биография писателя» мы имеем важное указание: «Детство — слишком важный этап в самосознании человека, чтобы его можно было бы вычеркнуть, ничем не заменив. Заменой мира детства, мира, к которому человек, как правило, обращается всю жизнь как к источнику дорогих воспоминаний, мира, в котором он узнает, что доброта, сочувствие и понимание — норма, а зло и одиночество — уродливое от нее уклонение» (Лотман 1995).

И именно этот «мир собственного детства» — таки не стал источником вдохновения для поэта. «[И хотя] в жизни дворянского ребенка Дом — это целый мир, полный интимной прелести, преданий, нити от которых тянулись на всю дальнейшую жизнь... наиболее разительной чертой пушкинского детства следует признать то, как мало и редко он вспоминал эти годы в дальнейшем» (Лотман 1995).

Причина лежит на поверхности. Отношения маленького Саши с матерью трогательными не назовешь. Надежда Осиповна Ганнибал была женщиной вспыльчивой и эксцентричной. Ее раздражала неуклюжесть,

рассеянность и неизысканная внешность ее старшего сына. «Прекрасная креолка» и «балованная» женщина (так ее характеризовали современники) едва ли была сокровищницей материнских добродетелей. В ее педагогическом арсенале были и «заговоры молчания» против сына едва ли не длиной в год, и наказания, когда она на целый день связывала руки за спиной у будущего поэта. Неудивительно, что А. С. Пушкин не посвятил ни одной ласковой строчки матери, по свидетельству пушкиноведов. Нам остается только спросить, а не одинаковую ли причину имеет «несостоявшееся детство», когда бы эта маленькая катастрофа не происходила — в дворянской ли среде XIX столетия, когда в связи с детством А. Пушкина Ю. Лотман говорит о материнском равнодушии и сосредоточенности на собственной персоне матери будущего великого поэта, или в эпоху постмодерна, когда, повторим вывод Ф. Дольто, взрослые стали инфантильнее и эгоистичнее детей?

Но именно великая природа детства в том и состоит, что дети сильнее чувствуют потребность не просто в родителях, а в любви к родителям. С годами, становясь взрослым, человек хочет как бы вновь иметь родителей, особенно эта потребность усиливается в тех случаях, когда он страдал от родительского непонимания в детстве. А. Пушкин не оплатил своей матери обидой и холодностью. С годами что он, что, кстати сказать, А. Чехов, сближаются: Чехов — с отцом, Пушкин — с матерью. Великодушие таланта как бы спасает и восстанавливает то, чего носители этого таланта лишены были по вине родителей в детстве. Восстанавливают и спасают обаяние человеческих отношений, не состоявшихся в детские годы. Пушкин особенно сблизился с матерью, когда она заболела в последний раз. Он был единственным членом семьи, кто сопровождал тело матери для погребения в Святогорский монастырь. Там же, рядом с могилой матери, Александр Сергеевич купил участок для себя.

Вот урок детства, как мы его (урок) читаем в биографиях писателей эпохи классической русской литературы. В природе нормального человека: если он не получил детства в нежные годы (по вине отца/матери), то в зрелый период испытывает потребность вернуть «заблудших родителей» в свое, уже взрослое, детство. Относительно Пушкина Ю. Лотман отмечает: ««Глубокой привязанности к родителям у Пушкина не было (особое спасибо Надежде Осиповне. — А. Ш.). Однако потребность в такой привязанности, видимо, была исключительно сильна» (Лотман 1995). И можно сказать, что это тот случай взрослого инфантилизма, который не имеет негативной коннотации.

10

Иван Бунин, автор нобелевского романа «Жизнь Арсеньева» — один из немногих русских писателей, кто построил на проникновенном воспоминании-воссоздании детства, как бы мы сейчас сказали, модель раннего существования человека, полную реальных противоречий, свободную от квазиромантических красок и в то же время воспроизводящую подлинность и сущность взрослеющего ребенка. В самом деле, опираясь и на собственный опыт, он увидел жизненный дебют очень трезво и без излишнего восторга, даже с опаской. Неопытность детской души — плохой страховый полис для ребенка. «Младенчество свое я вспоминаю с печалью. Каждое младенчество печально: скуден тихий мир, в котором грезит жизнью еще не совсем пробудившаяся для жизни, всем и всему еще чуждая, робкая и нежная душа. Золотое, счастливое время! Нет, это время несчастное, болезненно-чувствительное, жалкое» (Бунин 2003: 21). В этой связи поневоле вспоминается мандельштамовское: «О, как мы любим лицемерить / И забываем без труда / То, что мы в детстве ближе к смерти, / Чем в наши зрелые года».

Что поразило И. Бунина в собственном детстве? Речь идет по крайней мере о двух чертах детского сознания и самоощущения, которые, можно сказать, абсолютно и даже избыточно присутствуют на заре жизни, катастрофический дефицит которых наблюдается чаще всего в зрелые годы.

Первое — это украшение и *sine qua non* всякой «нормальной» (!) ранней юности. Это чувство трансцендентности бытия, чувство того, что жизнь не исчерпывается «этой» реальностью. Более того, именно такая «нездешность» (в пространстве) и это «прекрасное далёко» (во времени) держит ребенка в том важном состоянии, которое дает ему «звездный билет» в зрелость. Великая мысль всех трансцендеталистов от Августина Блаженного до Торо и Бердяева — только то, что выше человека, составляет собственно его сущность. Религиозно талантливый И. Бунин формулирует это в «Жизни Арсеньева» на свой лад: «Разве это было бы возможно, будь нашей долей только то, что есть, “что Бог дал”, — только земля, только одна эта жизнь? Бог, очевидно, дал нам гораздо больше. Вспоминая сказки, читанные и слышанные в детстве, до сих пор чувствую, что самыми пленительными были в них слова о неизвестном и необычном. “В некотором царстве, в неведомом государстве, за тридевять земель... За горами, за долами, за синими морями... Царь-Девуца,

Василиса Премудрая...»» (Бунин 2003: 33). Не сохраняя, утрачивая эту атрибутику открытости к «другому» бытию, человек обрекает себя на то, что «здесь» и «под руками», на то, что на философском языке, называется имманентностью, на социологическом — повседневностью, а на критическом языке — мещанством.

Второе — это особое чувство мобилизованности и тонуса, которое, по обыкновению, осознается как некая, почти счастливая выделенность себя в этом мире и непохожесть себя на это окружение. «Было чувство того, — пишет бунинский герой, — что у меня “все впереди”, чувство своих молодых сил, телесного и душевного здоровья, некоторой красоты лица и больших достоинств сложения, свободы и уверенности движений, легкого и быстрого шага, смелости и ловкости, — как, например, ездил я верхом! Было сознание своей юношеской чистоты, благородных побуждений, правдивости, презрения ко всякой низости» (Бунин 2003: 131). Эта тема «юношеской чистоты, благородных побуждений, правдивости, презрения ко всякой низости» проходила красной нитью через всю литературную ткань русских классиков XIX столетия. В этой связи о Гоголе и Белинском приходится говорить в первую очередь.

11

Гоголь нам оставил свидетельства своего понимания детства и юности как неких критериев, по которым мы можем судить о степени деградации человека в его взрослости. Николай Васильевич был чуть ли не убежден в непоправимости утрат, которым сопровождается обмен детства на эту взрослую жизнь, и именно под этим углом зрения смотрел на социальную историю России, воссозданную им в портретах господствующего (помещичьего) сословия. Кульминация эрозии человеческих качеств в «Мёртвых душах» — это, конечно, хрестоматийный Плюшкин, опустившийся в своем неадекватном стяжательстве и скудоумии до титула «прорехи на человечестве». Интересно при этом, что известный своей религиозностью Гоголь в оценке и осуждении наблюдаемого обращается в первую очередь не к словарю христианских заповедей и норм, а именно к критериям и достоинствам человека в его нежном возрасте. «И до такой ничтожности, мелочности, гадости мог снизойти человек! мог так измениться! <...> Нынешний же пламенный юноша отскочил бы с ужасом, если бы показали ему его же портрет в старости. Забирайте же с собою в путь, выходя из мягких юношеских лет в суровое ожесточающее мужество, забирайте

с собою все человеческие движения, не оставляйте их на дороге: не подымете потом!» (Гоголь 2000: 117).

Видно, что это «не подымете потом!» как некая неизбежность приводило Гоголя в отчаянное состояние. Ему начинало казаться, что «всем человеческим движениям», рождаемым детством, не вырваться из герметичного пространства жизни и естественный удел «человеческого в человеке» — это быть рассыпанными на тряской дороге «суровой ожесточающей» взрослости. «Прежде, давно, в лета моей юности, в лета невозвратно мелькнувшего моего детства, мне было весело подъезжать в первый раз к незнакомому месту: все равно, была ли то деревушка, бедный уездный городишка, село ли, слободка, — любопытного много открывал в нем детский любопытный взгляд... Теперь равнодушно подъезжаю ко всякой незнакомой деревне и равнодушно гляжу на ее пошлую наружность; моему охлажденному взору неприятно, мне не смешно, и то, что пробудило бы в прежние годы живое движение в лице, смех и немолчные речи, то скользит теперь мимо, и безучастное молчание хранят мои недвижные уста. О моя юность! о моя свежесть!» (Гоголь 2000: 98).

В итоге можно сказать, что Николай Васильевич остается в раздвоенных чувствах. С одной стороны, мы слышим со страниц его бессмертной поэмы крик души, обращенный к молодости: постарайтесь не бросать, а взять во взрослую жизнь все самое лучшее, чем сопровождалось ваше детство. А с другой стороны, он как будто бы и сам не верит в эту возможность: силы не равны — проза, грубость и цинизм взрослой повседневности не нуждаются в «мире детства» будто бы за явной его непригодностью и ненужностью. И здесь мы оставляем Гоголя в этом неразрешенном им самим сомнении, чтобы обратиться к В. Г. Белинскому, который, кажется, имел в этом отношении некоторое преимущество перед автором «Мертвых душ».

12

Это преимущество состояло в только в одном: Белинский был, как известно, сторонником гегелевской философии. А совсем не секрет, что идея «сущности», «нормальности», «подлинности», «универсальности», и в этом смысле «идеала», была и остается самой сильной характеристикой всей гегелевской философии. (Так получилось, что в последнее десятилетие своей жизни Белинский порвал с Гегелем, но этот разрыв шел по линии, которая не затрагивала наиболее ценного в гегелевском учении, тем более что и самый разрыв произошел,

честно говоря, из-за упрощенного и не вполне адекватного понимания «неистовым Виссариемом» знаменитой формулы Гегеля — «Alles was ist, ist vernünftig».) Как бы там ни было, но Белинский один из первых в русской литературе заговорил о детстве не столько на языке художественных образов, сколько выразил свою мысль о детстве философски и категориально. «Возраст мужества выше младенчества — нет спора, но отчего же звуки нашего детства, его воспоминания даже и в старости потрясают все струны нашего сердца и радостью и грустью?.. Оттого, что младенчество есть необходимый и разумный период нашего существования, который бывает только раз в жизни и больше не возвращается... Это время нашего единства с природою, в котором так много простодушной и невинной любви; время нашего непосредственного сознания, в котором все было ясно, без тяжких дум и тревожных вопросов...» (Белинский 1954: 309, 310).

В этом определении, а лучше сказать, подходе к детству зафиксирован ряд важных и принципиальных положений. 1. Детство (точнее, воспоминание о нем, восприятие его субъектом детства) играет роль корректирующей самосоциализации взрослеющего человека. Проще говоря, природа детства такова, что воспоминание об этом возрасте как бы удерживает нас от худшего во взрослости. 2. Детство онтологически «есть необходимый и разумный период нашего существования». На этот счет сегодня найдено множество биолого-эволюционных, этологических, антропологических, психологических обоснований исключительной продолжительности и «качества» детства у человека как человека. 3. «Единство с природой», точнее, с миром, характеризует тот факт, что в детстве человек существует и ориентируется не через отчуждение себя в разных профессиях, институциональных состояниях и артефактах, а живет в согласии с миром, не принося в жертву свое «непосредственное» и «непринужденное» бытие этим поджидающим взрослого человека формам отчуждения.

Если Гоголь и другие русские писатели находят в детстве охранительный источник и спасительное средство от утраты человеческого в человеке, опираясь на этико-гуманистическую подоплеку человеческой драмы, то Белинский ставит, как мы видим, вопрос универсальнее и философичнее. Достаточно сказать, что он не попал в ловушку романтического искушения рассматривать детство как самостоятельный, независимый и герметически устроенный мир. (Между прочим, рецидив и следы этого «романтизма» мы наблюдаем и в сегодняшнем постмодернистском взгляде на детство.) В большой и философски глубокой статье «О воспитании детей» (1840) Белинский

начинает с главного, вокруг которого строится вся система суждений о ребенке: «Человек есть мир в малом виде, [есть] сущность и орган всего сущего» (Белинский 1987: 288, 298). Становление человеческим «зеркалом мира», этим *speculum mundi* и составляет онтологическую сущность детства как всякого жизненного дебюта: «...Оканчивается животное и начинается человек, вся жизнь которого, до поры полного мужества, есть ничто иное, как непрерывное формирование, делание, становление <...> полным человеком» (Белинский 1987: 288). Это «становление полным человеком» только для обывательского уха звучит пустой банальностью. На самом деле, этот «императив становления» имеет далеко не банальную «программу» реализации, именуемую собственно процессом воспитания в ребенке «человеческого». На языке классической философии всякое «развитие» предполагает, что вещь, предмет, субъект становится «равным самому себе», доразвивается до соответствия своему «понятию». «Назначение человека, — говорит в этом духе Белинский, — встать вровень с самим собой» (Белинский 1987: 295).

В этом доразвитии до самого себя, до «равенства с самим собой», до соответствия своему «понятию» нет ничего мистического и непонятного. Что главное в человеке по этой логике? В че-ло-ве-ке? — Человечность! Об этом же вещает и девиз всех времен и народов — «[Прежде всего] Будь человеком!» Белинский так и ставит вопрос: «...На родителях, на одних родителях лежит священнейшая обязанность сделать своих детей *человеками* (выделено нами. — А. Щ.), обязанность же учебных заведений — сделать их учеными, гражданами, членами государства на всех его ступенях. Но кто не сделался прежде всего человеком, тот плохой гражданин» (Белинский 1987: 295). Возможно, сегодняшнего опытного читателя удивит такое разделение труда в воспитательном деле, а главное — явное преувеличение родительских возможностей на все том же воспитательном поприще, но приоритет воспитания человеческого в человеке не должен нас смущать и удивлять. И этот приоритет остается в силе, независимо от того, на исполнение кому он в данный исторический момент возлагается: родителям или другому сообществу. «Первоначальное... воспитание, — настаивает Белинский, — должно видеть в дитяти не чиновника, не поэта, не ремесленника, но человека, который мог бы быть тем или другим, не переставая быть человеком» (Белинский 1987: 298). Эта, по существу, гегелевская мысль настолько дорога Белинскому, что он повторит ее не раз: «Нравственное образование делает нас просто “человеком”, то есть существом, отражающим на себе отблеск

божественности и потому высоко стоящим над миром животным. Хорошо быть ученым, поэтом, воином, законодателем и проч., но худо не быть при этом “человеком”; быть же “человеком” — значит иметь полное и законченное право на существование и не будучи ничем другим, как только “человеком”» (Белинский 1948: 456).

Наш знаменитый литературный критик на вполне доступном человеческому пониманию языке делает разъяснение, как понимать это «общечеловеческое», — разъяснение это читатель найдет в цитируемой работе Белинского, к которой собственно и приходится отослать читателя по причине, обусловленной только размерами данной статьи. Здесь же остается только сказать, что если формирование общечеловеческого в человеке (ребенке, в первую очередь) ставится под сомнение, чем грешит наша постмодернистская эпоха, сделавшая категорию общечеловеческого предметом иронии и даже отрицания, то это не может не обернуться источником наблюдаемых симптомов кризиса теперешней цивилизации.

13

Читатель, знакомый с русской художественной литературой, посвященной детству, возможно, обратил внимание, что здесь жизнь ребенка изображается в особом разрезе. О ребенке речь идет с позиции не «третьего», а «первого» лица. Этот подход всегда позволяет автору увидеть своего маленького героя не просто как объект писательского наблюдения, а скорее как субъекта, драматично сталкивающегося с миром взрослых и открывающего не только этот взрослый мир, но и себя в нем. Скажем больше, самовосприятие себя у ребенка, а затем и восприятие своего детства у взрослого понимается писателем как активный инструмент формирования и совершенствования человеческого субъектом самого себя.

Конечно, и у русских писателей и поэтов присутствует понятное и традиционное восприятие детей в качестве объектов, испытывающих на себе воздействие окружающей среды — воздействие, которое часто ущемляет и оскорбляет детство и поэтому вызывает авторское сочувствие: Некрасов, Достоевский, Короленко, Куприн, Мандельштам, Цветаева. Однако, повторим, уникальный вклад русской художественной мысли состоял не только в изображении детства как «реальной утопии», полной восторга, свободы и непосредственности (Аксаков, Гарин-Михайловский, Алексей Толстой), но и как того жизненного пространства и времени, когда детство для ребенка становится «фактором

его самого», или, выражаясь наукообразно, а значит, и несколько громоздко: «собственное детство человека как фактор его (человека) самосоциализации». И здесь непревзойденный авторитет среди классиков русской литературы — это, конечно, Лев Толстой.

Читатель, не искушенный в лабиринте художественной мысли Л. Толстого времен написания повестей «Детство», «Отрочество», «Юность», легко может стать жертвой обманчивого впечатления. Может показаться, что эти повести продолжают обычную жанровую линию историй о первых жизненных впечатлениях растущего ребенка. Повествования Л. Толстого, действительно, полны искреннего восхищения детством своего героя. «...Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства! Как не любить, не делять воспоминаний о ней? Воспоминания эти освежают, возвышают мою душу и служат для меня источником лучших наслаждений...» (Толстой 1970: 48). Писатель пытается даже предметно определить и перечислить причины восторга от подобных реминисценций. «Вернутся ли когда-нибудь та свежесть, беззаботность, потребность любви и сила веры, которыми обладаешь в детстве? Какое время может быть лучше того, когда две лучшие добродетели — невинная веселость и беспредельная потребность любви — были единственными побуждениями в жизни» (Толстой 1970: 48).

При этом Л. Толстой отдал дань своего художественного внимания и той важной и достойной мысли о том, что детство по-человечески значимо, естественно, не только для ребенка, но и для взрослого (который по определению уже расстался со своим нежным возрастом). Тема эта более привычно выражается императивом «быть родом из детства». В дневниках более позднего периода Лев Николаевич запишет: «От пятилетнего ребенка до меня только шаг» (цит. по: Шкловский 1967: 58). Многие люди действительно отмечены этим «вечным детством», но осознают этот «человеческий капитал» чаще всего в зрелые годы. У Л. Толстого не так. Это осознание случилось у него довольно рано (что, по-видимому, должно доказывать всю глубину преданности детству). В повести «Юность» он оставляет важное свидетельство: «Я убежден в том, что ежели мне суждено дожить до глубокой старости и рассказ мой догонит вой возраст, я стариком семидесяти лет буду точно так же невозможно ребячески мечтать, как и теперь» (цит. по: Шкловский 1967: 58).

Как бы там ни было, принципиально важно отметить одно — из факта «вечного детства» всегда вытекает совсем не слабое следствие: сохраненное в душе взрослого детство выступает как прививка

от многого дурного, приобретаемого нами, взрослыми, по ходу земного путешествия.

Следует признать, однако, что многое из перечисленного было так или иначе знакомо русским литераторам и раньше и выражено в их произведениях: и у С. Т. Аксакова, и у Н. В. Гоголя, и у И. А. Бунина, у многих других отечественных авторов. Тем не менее В. Шкловский в этой связи отмечает справедливо важную особенность толстовского освещения темы детства. «В то время многие люди писали или собирались писать детство, проверяя жизнь свежими глазами детей <...> Лев Николаевич задумал шире, не описание детства, а 4 эпохи развития» (Шкловский 1967: 136). Здесь важно именно слово «развитие». В. Шкловский с абсолютной точностью это отмечает: «Толстой больше всего дорожит способностью человека изменяться и, таким образом, духовно расти» (Шкловский 1967: 142).

С кодовым понятием «развитие» мы вступаем в мир Льва Толстого. «Развитие» у автора «Детства» никогда не означало банальную «мелиорацию/усовершенствование» личности в духе дурной бесконечности, где «лучшее есть враг хорошего». «Развитие» у Л. Толстого, действительно, нечто иное, это — «саморазвитие» в буквальном смысле, когда ребенок совсем не прямой продукт или жертва обстоятельств, а скорее существо, становящееся самим собой через преодоление этих обстоятельств. Юный герой толстовской трилогии составляет «Правила жизни»: «Разделив свои обязанности на три рода: на обязанности к самому себе, к ближним и к Богу... Я взял шесть листов бумаги, сшил тетрадь и написал сверху: “Правила жизни”» (Толстой 1970: 197).

Непременность развития ребенка давно подчеркивается современной психологией. В этом отношении примечательно, что установка Л. Н. Толстого на развитие, прежде всего как развитие не столько «внешними» силами, а силами самой личности, то есть как саморазвитие, замечательно подтверждается все той же современной психологией. В отечественной психологии эту тему постоянно артикулировала и разрабатывала Лидия Божович (1908–1981). Согласно ее представлениям, в психологии формирования личности в детский период следует подчеркнуть значимость понятия «внутренней логики»: одно дело, когда речь идет об опосредствовании, преломлении внешне-го внутренним, и другое, если мы исходим из признания собственной логики развития «внутреннего» (Божович 2008: 37).

Развитие личности ребенка устремлено к такому «новообразованию», как «способность к самоопределению, рождающаяся потребность понять самого себя, свои возможности, свое место в настоящей

и будущей жизни». Или, что то же самое: личность, с точки зрения Л. Божович, это особое психическое образование, которое выполняет среди прочих и такую функцию — освобождает человека от непосредственного влияния окружающей среды и позволяет ему не только приспособляться к ней, но и сознательно преобразовывать и ее, и самого себя.

Лев Толстой, вспоминая себя в детстве и вкладывая в слова Николеньки Иртеньева (этого alter ego самого писателя) ту озабоченность, в которой как раз отражены поиски абсолютной опоры (совершенства), что позволяло бы выстоять и против собственных слабостей и искушений, и против далеко несовершенных обстоятельств жизненной повседневности. Это состояние Толстой называет «внутренним голосом», который современный психолог с полным основанием мог бы назвать «строительным инструментом личности»: «Этот-то голос раскаяния и страстного желания совершенства и был главным новым душевным ощущением в ту эпоху моего развития, и он-то положил новые начала моему взгляду на себя, на людей и на мир божий. Благой, отрадный голос, столько раз с тех пор, в те грустные времена, когда душа молча покорялась власти жизненной лжи и разврата, вдруг смело восстававший против всякой неправды, злобно обличавший прошедшее, указывавший, заставляя любить ее, ясную точку настоящего и обещавший добро и счастье в будущем, — благой, отрадный голос! Неужели ты перестанешь звучать когда-нибудь?» (Толстой 1970: 193). Надо сказать, что звучание «внутреннего голоса», чаще всего не потворствующего человеческим прихотям и удерживающего человека от них, — это старый сюжет, известный с античных времен. Сократ говорил о своих «внутренних голосах» — «даймонах», которые отговаривали его, Сократа, от многих (надо понимать, не идеальных) поступков, о чем он, по признанию философа, естественно, никогда не жалел.

В связи с этим пора отметить (а точнее, закончить мысль, начатую чуть выше), что очарование «совершенством», «красотой», «счастьем», «добродетелью», открывшееся ребенку как откровение, совсем не обязательно должно было делать молодого Иртеньева человеком твердым и целеустремленным в осуществлении и поддержании этих нравственных «правил жизни». Более того «другая жизнь» с ее пошлостью и низостью продолжала крепко владеть сознанием и желаниями молодого героя повестей Льва Толстого. «Все мне говорило про красоту, счастье и добродетель, говорило, что как то, так и другое легко и возможно для меня... Как мог я не понимать этого,

как дурен я был прежде!... — говорил я сам себе. — Надо скорей, скорей, сию же минуту сделаться другим человеком и начать жить иначе. Несмотря на это, я, однако, долго еще сидел на окне, мечтая и ничего не делая» (Толстой 1970: 215). Или в другом месте: «но жизнь моя шла все тем же мелочным, запутанным и праздным порядком <...> когда душа молча покорялась власти жизненной лжи и разврата» (Толстой 1970: 216).

Беря за основу «внутренний поток сознания» героя толстовской трилогии, можно видеть весь внутренний механизм «самокоррекции», «диалектики души», по хрестоматийному выражению Н. Чернышевского, когда этот герой проходит все этапы «недовольства собой». И главный из них — это нарастающее ощущение того, что «наедине с самим собой» ты лучше, чем когда ты уступаешь (по безволию, некритически подражая и т. д.) развязному и циничному окружению. Последующее переживание от посрамления своего «идеального Я» и признаки самокритики — вот примерный маршрут «нравственного совершенствования», который читатель наблюдает, читая «Детство», «Отрочество», «Юность» Толстого. Тот же читатель может вполне найти сходство и с коллизиями собственного пубертата, что, собственно, говорит о некоторой универсальности этого маршрута, идущего «родом из детства» и одновременно — о глубокой художественной реалистичности великого русского писателя. Остается только добавить, что случай (кейс) юного Толстого-Иртеньева более сложен по той причине, что герой попадает в «самоловушки», самой коварной из которых оказалось понятие «*somme il faut*» — «понятие, которое в моей жизни, — рассказывает главный персонаж Толстого, — было одним из самых пагубных, ложных понятий».

Коварство и соблазнительность феномена «комильфо» состояло, если можно так выразиться, в его обратной, или негативной, универсальности. Для молодого Иртеньева-Толстого «комильфо» было не столько банально-конформистским «как следует, как надо, подобающим образом», а скорее, наоборот: «быть отличным от обыденного, заурядного, рутинного, повседневного». В этом смысле не будет большой натяжкой, если это толстовское «*somme il faut*» сравнить с ницшевским «*Übermensch*». Толстой сам дает основание так думать.

В частности: «Главное зло состояло в том убеждении, что *somme il faut* есть самостоятельное положение в обществе, что человеку не нужно стараться быть ни чиновником, ни каретником, ни солдатом, ни ученым, когда он *somme il faut*; что, достигнув этого положения, он уж исполняет свое назначение и даже становится выше большей части

людей». У Ницше («Так говорил Заратустра») прозвучала очень модная и по-декадентски крутая мысль: человек — это то, что человек должен в себе преодолеть! Конечно, «комильфо» — это не «сверхчеловек», но какой-то родственный дух высокомерного отчуждения от мира сложившихся человеческих профессий, занятий и забот в психологии человека-комильфо молодому Толстому-Иртеньеву импонировал или мог импонировать.

Но в том-то и состоял «казус» Толстого, что сократовские «голоса» и «даймоны» детства удерживают взрослеющего Николеньку Иртеньева от соблазнительных путей «comme il faut» / «Übermensch». Можно сказать, что этот решающий этап в формировании духовной прочности и самостоятельности личности у героя перечисленных повестей Толстого идет под эгидой хорошо и давно сформулированного императива — «Будьте как дети!». На всякий случай для сердитого и придиричливого читателя отметим. Не сказано: «Будьте детьми». Сказано: «Будьте как дети». Разница огромная.

Заметим, что Ницше характерно обозначает зрелую стадию развития человеческого духа выражением «ребенок», которому якобы предшествует фаза «верблюда» (символизирует выносливость и нагруженность жизни в условиях повседневной несвободы и требования «ты должен»), а далее дух может достичь стадии «льва», подозрительно похожей на то, что действительно напоминает нам привычного «сверхчеловека» с его главным принципом «я хочу», который, впрочем, не дает еще настоящую внутреннюю свободу. Другое дело стадия «ребенок», которую Ницше зашифровывает практически буддистским кодом: «дитя» — это невинность и забвение, новое начинание и игра, колесо, катящееся само собою, первое движение, священное «да». В интересующем нас аспекте обращает на себя внимание характеристика человека на этой стадии как «самокатящееся колесо». См. выше: Л. Божович, которая говорит о зрелой стадии психологического развития, которая «освобождает человека от непосредственного влияния окружающей среды и позволяет ему не только приспособливаться к ней, но и сознательно преобразовывать и ее, и самого себя» (Божович 2008: 141).

К этому стоит добавить, точнее повторить, что именно Лев Николаевич Толстой, как никто другой, показал, что отношение человека к опыту своего детства как ценности играет колоссальную роль в самоформировании личностной зрелости и адекватности. Присутствие «детства» в сознании и в психологии подрастающей личности интимно и авторитетно ориентирует ребенка на идеальные,

романтические и в этом смысле по-настоящему человеческие паттерны поведения и общения в социуме. То же присутствие «детства» в сознании и психологии взрослого играет роль мягкой силы — внутреннего голоса совести, морали и самокритики, этих великих и умных друзей взрослого человечества.

14

Многое познается в сравнении. Поэтому в заключение неспроста напрашивается сравнение темы детства, как она получила осмысление и отражение в русской художественной литературе и литературе западной. Исчерпывающе на этот вопрос, конечно, не ответишь. Но это не повод не попробовать сказать о том, что лежит хотя бы на поверхности.

Легко бросается в глаза, что там и здесь присутствует благородная интенция защитить детство и вызвать к нему сочувствие в самых неблагоприятных для этого детства временах и ситуациях: В. Блейк, Ч. Диккенс, М. Твен и др. — на Западе, и А. Чехов, В. Короленко, М. Горький и др. — в России. Определенное единство подходов можно отметить и тогда, когда на Западе в эпоху сентиментализма и романтизма (конец XVIII — начало XIX века) на детство стали смотреть не как на период подготовки к взрослой жизни, а как на самобытный и самоценный мир, не сводимый ни к какой взрослости: И. Гёте, Р. Вордсворт, Новалис, тот же У. Блейк и др. До определенной степени аналогичную реплику романтизма с поправкой на ее более позднее появление мы встречаем и в русской литературе: Аксаков, Гарин-Михайловский, А. Толстой и др.

Но, может быть, это не самое лучшее, что достойно повторения. На Западе такая романтизация детства выродилась в постмодернистскую инфантилизацию взрослых и эгоистическое потребление детства. В наше время кому-кому, а детям не позавидуешь (см неоднократно цитируемое сочинение Ф. Дольто «На стороне ребенка»). В то же время на Западе была и другая философия детства, идущая от эпохи просвещения — прежде всего «кейс» Ж.-Ж. Руссо, которого западные авторы, пишущие в парадигме постмодернистского гендера и феминизма, третируют как сеющего зло, идущего от «прогрессизма» и «рационализма» эпохи Просвещения.

В русском художественном сознании была и другая линия, которая, как мы видим, продолжала лучшие традиции европейской духовной культуры и в этом сюжете — мир детства в его подлинных проблемах

и по своей подлинной природе. И этой позиции придерживался и литературно воплощал ее Лев Толстой. Ложная, экзальтированная интенция и патетика прошлого романтизма/сентиментализма и нынешнего постмодернизма продлить, то есть законсервировать детство идет против сущности детства. Ребенок — это развитие. Взрослые так интенсивно не развиваются. Сам по себе термин «развитие» ни о чем не говорит. Развитие — это всегда «развитие к...». Развитие к зрелости. «Вещи нет, когда она начинается» (Гегель). Жизнь ребенка движется не от детства к взрослости (взрослые часто суть «плохие дети»), а от детства — к зрелости. «Взрослость» здесь не кодовое слово. Цель/интенция — зрелость. И в этой зрелости всегда найдется и детство, если развитие шло нормально, диалектически, ничем не искажалось, даже если оно шло не благодаря, а вопреки. Л. Толстой не только художник такого развития в детстве, но и его протагонист.

И теперь в качестве иллюстрация вышеназванного сравнения зададимся вопросом, как литературно выглядит «век нынешний и век минувший» все в том же аспекте — в разрезе детства. О русской литературной классике в объеме данного исследования говорилось достаточно. Попробуем препарировать самый шемящий, искренний и предельно откровенный опус о детстве, написанный в XX веке исповедально и от первого лица. Речь идет о повести Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи».

Но прежде напомним как бы неоспоримое. Изображение мира детства в художественной литературе часто, если не всегда, выполняет и свою латентную задачу. Не прибегая к слишком знакомым и недорогим сентенциям о том, что устами младенца глаголет истина, скажем проще и очевиднее: дети имеют привилегию быть критерием в оценке успехов или, наоборот, деградации общества взрослых.

Ф. Достоевский, например, берясь за написание романа «Идиот», по его собственным словам, имел в виду, что «главная мысль романа — изобразить положительно прекрасного человека». Симптоматично, что выбор автора выпадает на князя Льва Николаевича Мышкина, которого окружающие его люди воспринимают как «большого ребенка». Характерно, что и сам князь после лечения в швейцарской психиатрической клиники так себя и аттестует: «Я только что вернулся от детей к вам, взрослым».

Можно сказать, что петербургский свет, как он представлен семьей и салоном генерала Епанчина, увидел в князе Мышкине своё отражение. Сам же герой Достоевского никого не бичует (как, например, Чацкий у Грибоедова). Да он и не может это сделать по причине

своей детскости и непреходящей наивности. Но эффект налицо — и в рамках драматургии романа, и в рамках читательского интереса. На симпатии и сочувствии к «вечному ребенку» и строится доверие к правде князя Мышкина. У читателя романа «Идиот», написанного в эпоху расцвета русской классической литературы, даже не могло возникнуть подозрение, что «казус» князя Мышкина не натурален, носит искусственный характер и отражает, якобы, фантазийный и капризный мир представлений Достоевского на тот период времени.

Иное дело тема подростка в «неклассической» литературе. Перед писателями, берущимися за тему детства, соблазнительно возникает искушение облегчить свою задачу. Детством литературно злоупотребляют, его упрощают, его делают средством авторского, как сейчас говорят, самопиара. В этом-то пункте и расходятся самые сильные примеры художественного осмысления детства в русской традиции (Толстой, Достоевский, Чехов) и отнюдь не слабые в замысле и исполнении вещи у современных авторов — как, например, у Дж. Сэлинджера.

«Над пропастью во ржи» (1951) — это несомненно культовая вещь, находится в списке 100 лучших англоязычных романов, издана практически на всех языках мира многомиллионными тиражами. Время, описываемое в повести, послевоенное, полное ожидания и возможности жить по всем стандартам «общества благополучия». Америка отстраивалась своими пригородами уютных семейных коттеджей. Однако герой Сэлинджера 15-летний Холден Колфилд в явном неладу с современной ему реальностью.

Повесть Сэлинджера слишком хорошо знакома читателю, и не одно поколение было под гипнотическим впечатлением честных признаний юного Колфилда от встреч и общения со своими сверстниками и взрослыми. Отмечено многими, что с первых страниц повести поневоле проникаешься сочувствием к неприкаянной душе героя. Кульминации симпатия к юноше достигает, кажется, в тот момент, когда он буквально исповедуется о своем единственном и главном желании в этом мире: «Понимаешь, я себе представил, как маленькие ребятишки играют вечером в огромном поле, во ржи. Тысячи малышей... А я стою на самом краю скалы, над пропастью, понимаешь? И мое дело — ловить ребятишек, чтобы они не сорвались в пропасть» (Сэлинджер 2013). Многие читатели так и остаются на долгие годы под сильным впечатлением от этого романтического и глубокого порыва главного героя в повести Сэлинджера.

Но многие читатели со временем отмечают и другое. Совсем другое. Странности и нестыковки начинаются, когда повнимательнее прислушиваешься к многочисленным и словоохотливым репликам молодого Колфилда, по которым легко прочитывается жизненное «кредо» героя — полный пофигизм и такое же полное презрение к современным ему американцам — сверстникам и взрослым. Зашкаливающая мизантропия старшекласника, не знающая никаких оттенков и исключений. Колфилд разговаривает с подружкой Салли: «С тобой случается, что всё осточертевает? <...> Скажи, ты любишь школу, вообще всё? <...> А я ненавижу. Господи, до чего я всё это ненавижу. И не только школу. Всё ненавижу ... Ты бы поучилась в мужской школе... Сплошная липа. И учатся только для того, чтобы стать какими-нибудь пронырами, заработать на какой-нибудь треклятый “кадиллак”... А целые дни только и разговору что про выпивку, девочек и что такое секс... Попробуй с кем-нибудь поговорить по-настоящему».

«В общем я рад, что изобрели атомную бомбу. Если когда-нибудь начнётся война, я усядусь прямо на эту бомбу. Добровольно сяду, честное благородное слово».

Читая подобные lamentации, идущие от рассерженного ребенка по имени Холден Колфилд и его alter ego, растерянного писателя по имени Джером Сэлинджер, более искушенный читатель вспомнит модные филиппики против капитализма, которыми полны были песни и проза битников 1950-х и хиппи 1960–70-х годов. Эти «романтические» настроения немало поэксплуатировали и собственно социальные критики позднее. Конечно, капитализм заслуживал и всегда заслуживает критики. Но реализовались ли самые мрачные прогнозы? Где, к примеру, «одномерный человек», которым грозил в свое время Г. Маркузе, «толпа одиноких» Д. Рисмена, «восстание масс» Ортеги-и-Гассета, «фашизм с человеческим лицом» С. Зонтаг, «дивный новый мир» О. Харсли, «новое средневековье» Р. Ваки и т. д.?

Это, правда, жизнь пугает нас опасными трендами, затянувшимися социальными и культурными девиациями. Но, как говорили классики, за всякий прогресс приходится платить. Однако считать, что всякие небезопасные тренды и девиации социума должны вызывать у мыслителя и писателя пожизненное и абсолютное отвращение к цивилизации — по меньшей мере предательство своей профессии, профессии мыслителя и писателя. К Дж. Сэлинджеру это имеет прямое отношение.

«Другое я» Сэлинджера — закомплексованный, обозленный на «все без разбора», на сверстников, на этих «двоюродных подонков», 15-летний Колфид, — конечно, вызывает и сочувствие. Действительно, как жить в такой шкуре? Но на этом сочувствие и соболезнование заканчиваются. Что-то в нормальном читательском восприятии сопротивляется такой оценке. «Меня тошнит», «меня чуть не стошнило», «я в плохом состоянии, я в ужасном состоянии», «я чувствовал, что начинаю ее ненавидеть», «такого скопления подлецов я в жизни не встречал», «меня до смерти раздражает» — «маленькие шедевры» безответственной и отвязной мизантропии рассыпаны плотным рефреном по всем страницам этого культурного бестселлера.

Повесть называется «Над пропастью во ржи». Ржаное поле не огорожено и опасно подступает к обрыву над пропастью. В поле до самых сумерек бегают заигравшиеся дети, не чуя беды. Читатель знает, что Холден, по его же словам, хочет «ловить ребятишек, чтобы они не сорвались в пропасть!» Но читателю не надо быть слишком внимательным, чтобы прочесть и другое. Прочесть то, что, кажется, более соответствует *ide fixe* героя: «Тут я сел на скамью. Я задышался, пот с меня лил градом. Просидел я на этой скамье, наверно, около часа. Наконец, я решил, что мне надо делать. Я решил уехать. <...> ...Выйду на шоссе и буду голосовать, пока не уеду далеко на Запад. <...> Я подумал, что легко найду работу на какой-нибудь заправочной станции. <...> В общем, мне было все равно, какую работу делать, лишь бы меня никто не знал, и я никого не знал. Я решил сделать вот что: притвориться *глухонемым* (выделено мной. — А. Ш.). <...> ...Потом построю себе на скопленные деньги хижину и буду там жить до конца жизни. <...> ...А позже я, может быть, встречу какую-нибудь красивую глухонемую девушку, и мы поженимся. <...> Если пойдут дети, мы их от всех спрячем».

Может быть, для читателей на рубеже 1950-х этот романтический эскапизм был еще как-то элегически и снисходительно терпим, то позднее эта практика хиппи-коммун и религиозного сектантства, доходящая до коллективного изуверства, экзистенциально исчерпала себя, морально дискредитировала, а в отдельных случаях и криминализировалась. Сам Сэлинджер, подражая своему герою, повторим, своему «другому я», в самопотворстве «романтическому эскапизму» так далеко не пошел. Но и мечта Холдена спасти детей на краю пропасти так и осталась (по воле автора) красивым, но одиноким и беспомощным эпизодом в намерениях героя. Повесть, скорее, следовало бы, если держаться ее сюжета и логики, назвать как-то вроде «Изображая

глухонемого». В довершении этой истории Сэлинджера-Холдена остается только добавить, что сам автор дожил до 91 года, вел затворнический образ жизни, практически ничего больше не писал, при этом не опровергал слухов, что он будто бы готовит большое сочинение и что даже порой пишет под чужим именем. Говорят, что все-таки послал он нечто своему издателю в Нью-Йорк, на что тот лаконично ответил: «Джером, оставайся лучше легендой». Кроме того, надо думать, под влиянием нарциссической влюбленности в свою повесть не разрешил при жизни экранизировать свое произведение. И еще был невыносимым деспотом в семье. Пять раз женат, причем каждая последующая жена все моложе и моложе нашего литературного ветерана, последняя подруга — на 50 лет. Дочь и жертва домашнего воспитания Джерома Сэлинджера (лечившего детей рецептами восточной медицины и гомеопатии, при этом не всегда удачно, но всегда державшего своих отпрысков в ежовых рукавицах) Маргарет Сэлинджер после смерти отца выпустила книгу «Мой папа — ограниченный и жалкий человек» (Сэлинджер 2000: 11).

Портрет отчаянного и беспомощного бунтаря «о 15-ти лет», нарисованный Джеромом Дэвидом Сэлинджером, здесь приведен для сравнения с тем, как тот же мир детства был «реконструирован» и дан читателю русскими писателями в классическую эпоху отечественной литературы середины и конца XIX столетия. Конечно, разницу представлений можно списать на разницу эпох. Но это будет, похоже, слишком поверхностный ответ. Подлинная разница — в понимании самой природы детства. В одном случае (Л. Толстой, Гоголь, Достоевский и др.): ребенок — это тот субъект, который, вступая в мир, органически полон тех способностей и характеристик, которые потенциально составляют, так сказать, цивилизационный профиль/норматив взрослого человека, равно как и «неуронившего себя» социума — социума, соответствующего своему «понятию», или «человеческому» определению. С другой стороны (Дж. Д. Сэлинджер): подросток — это уже исчерпавшая себя субстанция детства, — ребенок, добровольно променявший идею «развития» и «сопротивления» на недорогой и удобный «внутренний капитал» — мизантропию и ненависть.

Можно ли считать Сэлинджера писателем-реалистом? Вспомним, у него ребенок говорит: «Господи, до чего я все это ненавижу. И не только школу. Все ненавижу». С любым ребенком может

случиться истерия и даже приступы бешенства, но если юный герой так ровненько и с готовностью находится в состоянии ненависти ко всему — это не реализм и не художественное исследование детства. Это — тот конструктивизм и произвол, который характерен для сугубо модернистской/постмодернистской литературы. Когда таким путем пытаются воспроизводить и анализировать детство, то результаты могут быть самыми экстравагантными. Возьмите роман У. Голдинга «Повелитель мух». Если еще понятна формула «взрослые — это плохие дети», то вывод, вытекающий из романа У. Голдинга, о том, что дети — это еще более опасные и гнусные существа, чем взрослые, — этот вывод, сделанный в порыве особого литературного изыскательства, уже сам по себе настолько извращает смысл и природу феномена ДЕТСТВА, что и ставит на этом феномене жирный крест. Или, как говорили в подобных случаях римские ораторы: *Nec plus ultra*.

Источники

Белинский В. Собр. соч.: В 3 т. — М.: ОГИЗ, ГИХЛ, 1948.

Белинский В. Общая идея народной поэзии // Белинский В. Полн. собр. соч.: В 13 т. — М.: Изд-во АН СССР, 1954. — Т. 5.

Белинский В. О воспитании детей вообще и о детской книге // Антология педагогической мысли России первой половины XIX в. — М.: Педагогика, 1987.

Божович Л. Личность и ее формирование в детском возрасте. — СПб.: Питер, 2008. — 398 с.

Бунин И. Избранные сочинения. — М.: Олма-Пресс, 2003. — 831 с.

Гоголь Н. В. Мертвые души: главы из поэмы. — М.: АСТ; Астрель; Олимп, 2000. — 235 с.

Дольто Ф. На стороне ребенка. — СПб.: Петербург-XXI век, 1997. — 526 с.

Ермилов В. Антон Павлович Чехов: 1860–1904. — М.: Молодая гвардия, 1951. — 432 с.

Истомина О., Майтиль Е. Социализирующие функции современного института семьи // Семья в современном мире: Материалы Всероссийской научной конференции. — СПб.: Ренومه, 2019.

Кислов А. Оправдание детства как феномен культуры: философский анализ: Автореф. дис ... д-ра филос. наук; 09.00.2013. — Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2002. — 46 с.

Кон И. Ребенок и общество. — М.: Наука, 1988. — 269 с.

Коткин Дж., Сигел Г. Куда делись все дети? (2013) // Интернет-проект ИноСМИ.RU. — URL: <https://inosmi.ru/usa/20130220/206117758.html> (дата обращения: 21.12.2020).

- Лоренц К. Кольцо царя Соломона. — М.: Знание, 1978. — 208 с.
- Лотман Ю. Пушкин: Биограф. писателя; Статьи и заметки, 1960–1990; Евгений Онегин: Комментарий. — СПб.: Искусство-СПБ, 1995. — 845 с.
- Платонов А. Смерти нет! Рассказы и публицистика 1941–1945 годов. — М.: Время, 2010. — 544 с.
- Сэлинджер М. Мой папа ограниченный и жалкий человек // Огонек. — 2000. — № 39. — С. 11.
- Чехов А. П. Письма // Чехов А. П. Полн. собр. соч.: В 30 т. — М.: Наука, 1976. — Т. 3. — С. 173–174.
- Bell D. *The Cultural Contradictions of Capitalism*. — New York: Basic Books, 1976.
- Lasch Ch. *The Culture of Narcissism*. — New York.: Norton, 1979.

References

- Belinskiy V. *Sobranie sochineniy: V 3 t.* [*Collected works, In 3 vols*] Moscow, OGIZ, GИЛ, 1948. (In Russian)
- Belinskiy V. Obshchaya ideya narodnoy poezii [General idea of folk poetry]. *Belinskiy V. Polnoe sobranie sochineniy: V 13 t.* [*Complete Works, In 13 vols*]. Moscow, Publishing house of the Academy of Sciences of the USSR, 1954, vol. 5. (In Russian)
- Belinskiy V. O vospitanii detey voobshche i o detskoj knige [On the upbringing of children in general and the children's book]. *Antologiya pedagogicheskoy mysli Rossii pervoy poloviny XIX* [*Anthology of pedagogical thought in Russia in the first half of the 19th century*]. Moscow, Pedagogika, 1987. (In Russian)
- Bell D. *The Cultural Contradictions of Capitalism*. New York, Basic Books, 1976.
- Bozhovich L. *Lichnost' i ee formirovanie v detskom vozraste* [*Personality and its formation in childhood*]. Saint Petersburg, Piter, 2008, 398 p. (In Russian)
- Bunin I. *Izbrannye sochineniya* [*Selected Works*]. Moscow, Olma-Press, 2003, 831 p. (In Russian)
- Chekhov A. P. Pis'ma. *Chekhov A. P. Poln. sobr. soch.: V 30 t.* [*Complete Works, In 30 vols*]. Moscow, Nauka, 1976, vol. 3, pp. 173–174. (In Russian)
- Dol'to F. *Na storone rebenka* [*On the side of the child*]. Saint Petersburg, Petersburg-XXI century, 1997, 526 p. (In Russian)
- Ermilov V. *Chekhov: 1860–1904* [*Chekhov 1860–1904*]. Moscow, Young Guard, 1951, 432 p. (In Russian)
- Gogol' N. V. *Mertvye dushi: glavy iz poemy* [*Dead souls: chapters from a poem*]. Moscow, AST; Astrel'; Olimp, 2000, 235 p. (In Russian)
- Istomina O., Maypil' E. Sotsializiruyushchie funktsii sovremennoy instituta sem'i [Socializing functions of the modern institution of the family]. *Sem'ya v sovremennoy mire: Materialy Vserossiyskoy nauchnoy konferentsii* [*Family in the modern world*]. Saint Petersburg, Renome, 2019. (In Russian)
- Kislov A. *Opravdanie detstva kak fenomen kul'tury: filosofskiy analiz: Avtoreferat dissertatsii ... doktora filos. nauk* [*Justification of childhood as a cultural phenomenon: philosophical analysis: Author's abstract. dis. ... Dr. Philos. Sciences*]; 09.00.2013. Yekaterinburg, Ural University Publ. House, 2002, 46 p. (In Russian)
- Kon I. *Rebenok i obshchestvo* [*Child and Society*]. Moscow, Nauka, 1988, 269 p. (In Russian)

- Kotkin Dzh., Sigel G. Kuda delis' vse deti? (2013) [Where did all the children go?]. *Internet-proekt InoSMI.RU* [*The Daily Beast*]. URL: <https://inosmi.ru/usa/20130220/206117758.html> (access date: 21.12.2020). (In Russian)
- Lasch Ch. *The Culture of Narcissism*. New York, Norton, 1979.
- Lorents K. *Kol'iso tsarya Solomona* [*Ring of the King Solomon*]. Moscow, Znanie, 1978, 208 p. (In Russian)
- Lotman Yu. *Pushkin: Biografiya pisatelya* [*Biography of the writer*]. Saint Petersburg, Art-SPB, 1995, 845 p. (In Russian)
- Platonov A. *Smerti net! Rasskazy i publitsistika 1941–1945 godov* [*There is no death! Stories and journalism in 1941–1945*]. Moscow, Vremya, 2010, 544 p. (In Russian)
- Selindzher M. *Moy papa ogranichennyi i zhalkiy chelovek* [*My dad is a limited and pitiful person*]. *Ogonyok*, 2000, no. 39, p. 11. (In Russian)

Щелкин Александр Георгиевич, доктор философских наук, ведущий научный сотрудник, Социологический институт РАН — филиал Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук.

Shchelkin Alexander G., Dr. Sci. (Philos.), Prof., Leading Researcher, Sociological Institute of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Science.

evropa.ru@gmail.com.